

Б.Ф.Егоров

СТРУКТУРАЛИЗМ

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Б.Ф.ЕГОРОВ

1-980400

СТРУКТУРАЛИЗМ.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ.
ВОСПОМИНАНИЯ

Дорогой Фаине Зиновьевне
Кануновой
в ожидании ее мемуаров

21.VII.01

Б.Б.



Издательство «ВОДОЛЕЙ»
ТОМСК — 2001

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Структурализм и точные методы

Простейшие семиотические системы и типология сюжетов	9
Аксиоматическое описание русских систем стихосложения	21
О жанре, композиции и сегментации	26
Структура рассказа «Дом с мезонином»	34
Структурный метод анализа художественного произведения (Стихотворение Ф.И.Тютчева «Умом Россию не понять...»)	51
Стихотворение Н.А.Некрасова «Прощанье» (1856)	56
Что такое литературоведческий структуральный анализ?	63
Из ранних структуралистских штудий (анализ поэмы А.Блока «Двенадцать»)	75
Альбом как модель эстетических вкусов владельца	83

Русская поэзия

Категория времени в русской поэзии XIX века	93
Поэзия А.С.Хомякова	109
Ап.Григорьев — поэт	166
Ал.Блок — исследователь творчества Ап.Григорьева	221

Воспоминания и очерки

Федор Иванович Егоров (1884-1968)	239
Судьба И.А.Фесенко	268
Как я стал литературоведом	276
Найти бы в архиве КГБ мои листовки!	288
Питерские памятники 1945—1947 гг. и легенды об их оживлении	291
У истоков Тартуской школы. Воспоминания о 1950-х годах	294
Полвека с Ю.М.Лотманом	317
Наша молодая кафедра	327
На рубеже пятидесятых (отрывок)	334
Ю.М.Лотман в быту: характер и поведение	337
Товарищ, коллега, личность (о З.Г.Минц)	341
Вальмар Адамс как историк русско-эстонских куль- турных связей	347
Ю.Г.Оксман и Тарту	358
В Ленинградском университете 1960-х годов	386
Что помню о В.Я.Проппе	397
Люди, нелюди и полулюди (памяти Е.Г.Эткинда)	407
Из истории советской цензуры (издательские редак- торы как «цензоры»)	413
О ценности устных сообщений очевидцев	419
Письма Елены Сергеевны Булгаковой	424
Мирослав Дрозда	434
Слово о Б.О.Кормане	436
Е.А.Маймин как тип русского интеллигента	442
Моя Америка—89	447
Д.С.Лихачев и «Литературные памятники».	495
Из «лихачевского» дневника	500
Библиография первопечатных публикаций	509

ОТ АВТОРА

Читателю предлагается сборник статей по трем очень значительным для меня темам научных и общественно-публицистических занятий. Из них первый раздел — структуралистский — относится к ранней поре научных штудий, к 1960 — 1970-м годам, лишь статья об альбомах, задуманная в те же дальние годы, смогла реализоваться пять лет назад.

Считаю, что давнишние структуралистские статьи имеют прежде всего исторический интерес как определенный этап становления и развития «тартуской школы» во главе с Ю.М.Лотманом. Поэтому я не исправлял, не модернизировал тексты, оставил их в первоизданном виде (исправлены лишь опечатки). С другой стороны, конкретные анализы художественных произведений, считаю, могут использоваться практически и в наши дни.

Русской поэзией, темой второго раздела, я занимался всю свою сознательную жизнь, поэтому здесь есть главы-статьи и старые, и новые, но, как бы сказал Ап.Григорьев, я ни от чего не отрекаюсь, я с чистым сердцем подписываюсь и сейчас под своими старыми статьями, ничего в них не изменяя.

Воспоминания и полумемуарные очерки человек обычно пишет уже в зрелые годы, и я здесь не исключение: первые произведения этих жанров у меня возникли в период горбачевской перестройки, в конце 1980-х гг., когда мой возраст перевалил за шестьдесят лет. Еще более интенсивно я стал писать воспоминания на пороге третьего тысячелетия христианской эры, как бы подводя итоги и своей жизни, и нашего тяжелого XX века. Слабеет память, уходит здоровье, надо торопиться оставить описания уникальных характеров, черт, событий, которые

посчастливилось видеть. И в этом разделе относительно ранние очерки, создававшиеся еще в советское время, характеризуют некоторые социально-политические ситуации, которые навсегда исчезли. Но, опять-таки, сохраняю тексты без изменений: они ценны как исторический документ, а в то же время почти все затронутые проблемы не потеряли своей актуальности и в современных условиях.

В конце книги приводятся библиографические справки о первопечатных публикациях глав-статей.

КАК Я СТАЛ ЛИТЕРАТУРОВЕДОМ

В детские предвоенные годы, по личному характеру и по духу времени (в тридцатых годах продолжался культ науки и технического творчества: строим социализм! параллельный культ шпиономании, политических расправ лишь начинался и на детей меньше влиял), я был устремлен к точным наукам и жадно впитывал все возможные факты, идеи, методы, которые я мог извлечь из книг, журналов и из общения со старшими товарищами — главным образом, в областях химии и радиотехники. Школьные учителя в провинциальном городе (я жил в Старом Осколе) мало помогали; помню конфузное бормотание учительницы химии, которая так и не смогла мне толком объяснить, что такое титрование.

Любопытно однако: в глухом районном центре можно было создать приличную химическую лабораторию! В захудалой аптеке продавались не только пробирки, но и разные колбы, стеклянные трубки разных конфигураций и диаметров, два-три десятка реактивов, вплоть до экзотических солей. Свободно продавались селитра и сера, которые были нужны не только для химических опытов, но и для производства пороха. Мы, группа юных «химиков», устраивали за городом мощные взрывы «бомб»: закапывался в землю отрезок водопроводной трубы с загнутыми краями, наполненный самодельным порохом, и взрывался с помощью 90-вольтной химической батареи, длинных проводов и кусочка никелиновой проволоочки, опущенной в порох. Школьные товарищи доставали какими-то окольными путями дефицитные реактивы. Я, например, добыл целый пузырек (с притертой пробкой) чистой ртути: мы тогда понятия не имели о ее вреде. Ртуть тоже шла не только для опытов, но и для изготовления мелких денег: двухкопеечная монетка натиралась ртутью добела и превращалась в равный по величине гривенник, т.е. как бы увеличивала свою ценность в пять раз; а за 10 копеек на базаре можно было купить хорошую конфету-тянучку (покупку нужно было совершать сразу же после обеления: через несколько часов ртуть испарялась и монетка опять становилась желтой).

С радиодетальями было сложнее, в основном они добывались частными путями, но тоже можно было создать неплохую радиолaborаторию. Денежные средства для по-

купок частично выпрашивались у родителей, частично зарабатывались на летних стройках: я, например, вместе с товарищем усердно дробил камни и кирпичи на мелкую щебенку.

Параллельно шло увлечение математикой, главным образом, алгеброй и теорией чисел. Я семиклассником додумался до общей формулы бинома и взгрустнул, когда узнал, что Ньютон ее вычислил три века назад. К 9-му классу пришлось время перейти к дифференциальному исчислению. В вуз я поступал с хорошим математическим фундаментом.

Еще одно сильное увлечение детства — шахматы. Главный толчок был дан московским международным шахматным турниром 1935 года. В газетном киоске можно было покупать шахматную газету «64», которая публиковала с толковыми комментариями все партии турнира. Блистательная партия Капабланка—Рагозин до сих пор у меня в памяти. Рагозин не допустил ни одной ошибки, но Капабланка силой своего таланта неуклонно сжимал в тиски фигуры противника и в конце концов заставил сдаться. Возбуждение и вообще страстные веяния охватывали мою душу и при естественнонаучных занятиях, но ничто так меня не волновало, как шахматная игра — и своя, и чужая.

Шахматы были своеобразным мостиком между моими главными, техническими увлечениями и гуманитарной областью. Наверное, генетически гуманитарные зоны в моей душе были заготовлены в изрядных количествах и лишь отодвинуты другими занятиями. Но не задавлены. Они с годами стали проявлять себя все заметнее. Началось с бурного разлива Пушкинского юбилея 1937 года (Сталин переходил к пропаганде национальных факторов, и Пушкинский юбилей оказался первой значительной ступенью). Я тогда впервые погрузился в бездонный мир пушкинского творчества и впервые почувствовал, что это такое же мое, как и наслаждение от выпаривания в колбе над спиртовкой красивой золотистой жидкости или от ночного сидения с наушниками у самодельного радиоприемника.

От чтения Пушкина был прямой переход к созданию иллюстрирующего пушкинские сказки кукольного театра, а потом и к настоящему театру. Мне удалось организовать из сверстников округа самодеятельный театр, с успехом выступавший на нашей улице. Сцена была сделана в

промежутке между родительским домом и сараем. Наибольшей славой пользовалась захватывающая пьеса о Робине Гуде (не помню автора, взята из какого-то тогдашнего детского журнала). Любопытно, что меня не тянуло с самого раннего детства в официальные (школьные и в Доме пионеров) кружки: шахматный, драматический и т.п. Видимо, проявлялись смесь индивидуализма и отталкивания от казенщины.

Вершиной моих предвоенных гуманитарных реализаций стало издание собственного журнала. Тогда популярные детские журналы назывались почему-то зоологически: «Чиж» и «Еж». Мы решили скромно уменьшить объект и назвать его «Муха». Бралась половина школьной 12-листной тетрадки, листки складывались вчетверо, сгибы разрезались, кроме главного заднего, который скобкой или ниткой скреплялся-прошивался, создавая 24-листную тетрадочку в одну четвертую величины школьной тетради. «Муха» в одном экземпляре выходила еженедельно. Я был главным писарем и художником, но участвовали все мои школьные друзья: Володя Логвинов (прошел Отечественную войну, скончался от незаживающих ран в 1947 г.), Коля Дьяков (ныне почтенный радиоинженер в подмосковном Александрове), Диодор Сологуб (человек с трагической судьбой, пытавшийся в одиночку бороться с коррупцией и развратом в Киевском автодорожном институте и получивший за это советскую психушку, физические издевательства и проч., и проч., сейчас уехал в США).

В «Мухе» публиковались почти все литературные жанры: рассказы, стихи, очерки; мы очень увлекались литературными загадками (ребусы, шарады, анаграммы, метаграммы, палиндромы и т.п.). Но главным произведением — из номера в номер, с продолжением следует — был приключенческий роман о похождениях 12 сказочных персонажей (некто вроде гномов) во главе с толстым, неуклюжим, но умным и хитрым Ключфелем. Они попадали в дремучие леса, в морские бури, их захватывали пираты, но они, конечно, благодаря изворотливости Ключфеля, выбирались из всех бед. Роман был коллективный, бесконечный, мы его сочиняли, горячо споря, по кусочку каждую неделю — не зная, что будет в следующих главах... До июня 1941 г. «Мухи» вышло около 100 номеров (издавалась — с каникулярными перерывами — около трех лет). Комплект остался в моем доме, спешно покинутом 30 июня 1942 г. (немецкая армия прорвала

наш фронт и заняла Старый Оскол 2-го июля). Мы убегали из города под бомбами и пулеметными очередями из самолетов. Весь комплект пропал, к великому сожалению, если не считать одного случайно сохранившегося номера.

Большая тема — мои музыкальные увлечения, о них следует говорить особо. Скажу только, что эта сфера из всего гуманитарного для меня самая завлекающая, самая эмоционально сильная и глубокая; если бы не советская бедность, лишившая меня инструмента и нормального обучения (отец вынужден был в 1936 г. продать пианино — очень нужны были деньги), быть бы мне музыковедом или даже композитором...

10-й класс, т.е. среднюю школу, я кончал в эвакуации, в саратовском городке Аркадаке, под крылышком моей замечательной бабушки Агриппины Семеновны. Школа была средняя, учительница литературы была тоже средняя, старательно преподавала «от сих до сих», на ее уроках было очень скучно. Большой контраст со старооскольским 9-м классом, где литературу преподавал какой-то молодой учитель, бежавший от немцев с Украины, он нас приобщал к великой русской поэзии, особенно увлекал Блоком. Аркадакская учительница где-то в феврале—марте 1943 г., т.е. во время третьей учебной четверти, задала нам на дом традиционную тему «Кем я хочу быть». Недовольный ее уроками, я написал хулиганское, удивительно бестактное сочинение «Я хочу быть учителем литературы». Смысл был такой: не нужно иметь ума, знаний, прочти очередное программное произведение, перескажи ребятам — и гуляй; жизнь легкая и привольная.

Можно представить, как я обидел учительницу! Но она оказалась хорошим человеком: рассказала все моему отцу, преподававшему в нашей же школе рисование и черчение, приведя его, а потом и маму, в ужас (ведь горел будущий золотой аттестат!), однако не поставила мне никакой оценки, вернув сочинение без пометок и подписи. Я, при всем детском легкомыслии, очень быстро понял, что я натворил, и горячо, раскаянно извинялся перед несчастной учительницей. Она благородно приняла извинения, а главное — не испортила мне аттестат. А в душе я тогда в самом деле считал, что литературоведение — совсем не трудная профессия, она создана для людей, не способных к серьезным наукам.

По окончании школы я отправился к дяде в Ташкент, тогда воистину город хлебный. После жизни в прифрон-

товых полосах я был поражен невоенным бытом: никакого затемнения, сияющие огни, сытые лица, обилие фруктов, которых я не видел два года. Дядя устроил меня работать грузчиком на хлебозаводе, а одновременно я поступил на самолетостроительный факультет Ташкентского авиационного института, который как раз тогда заканчивал мой дядя Валентин Яковлевич Волков. Когда в 1944 г. мне стукнуло 18 лет, меня не призвали в армию: студентам авиаинститута тогда уже полагалась отсрочка, так называемая «бронь».

Юношеская жажда знаний меня томила и в те трудные времена, и я решил заниматься не только на своем факультете. Я поступил на высшие заочные курсы иностранных языков, на немецкое отделение (увлекался тогда Г.Гейне). И химию не мог забыть и поступил заочником на химический факультет Политехнического института (благо, тогда не было еще глупого позднейшего распоряжения, запрещавшего учиться в нескольких вузах). Наконец, по инициативе моего тогдашнего студенческого товарища Юрия Снешко (не Снежко, а именно Снешко — польская кровь) для культурного самообразования поступил на филологический факультет САГУ (Среднеазиатский гос. университет). Однако оказалось, что одновременно в четырех вузах учиться нереально, я потонул в заданиях, стал всюду отставать. Поэтому, постепенно прикипая к филологии, отказался от химии и иняза (забавно: своеобразный гигантизм был вообще присущ моей юной душе, чуть позднее я еще попытался упоительно купаться одновременно в четырех любовях, но это тоже оказалось непосильно чрезмерным для тела; нравственные ограничения пришли позднее).

Филологию я не бросил, наоборот, она меня все больше и больше затягивала. Я с наслаждением готовился к экзаменам по фольклору и древнерусской литературе, по историческим предметам (тогда на филфаке были солидные курсы истории: не только русской, но и всеобщей, начиная с античной). А в авиаинституте после интересных для меня общих курсов математики, физики, химии пошли чужие для души сопромат, теория механизмов и машин, металловедение. Занятия становились все более тягостными.

В 1945 году, после окончания Отечественной войны, столичному руководству показалось, что так много авиационных институтов стране не нужно. Ташкентский ин-

ститут понизили до техникума, а всех вузовских студентов разделили на три группы и перевели в соответствующие институты в Ленинграде, Казани, Куйбышеве. Меня с детства притягивал Ленинград, который я никогда не видел. Очень действовали романтические рассказы о нем моей тетушки, учившейся там перед революцией; ярко запомнились отдельные встречи военного времени с ленинградцами, выглядевшими людьми какой-то особой интеллигентской породы... Так хотелось в Ленинград! И вот чудо: без всяких просьб и усилий меня включили в ленинградскую группу! Радость несказанная!

Но в Питере институт был специфический: авиаприборов, по аббревиатуре ЛИАП. Я был назначен на радиофакультет, т.е. на факультет, готовивший специалистов по радиооборудованию самолетов. Несмотря на мои детские увлечения, радиооборудование самолетов меня как-то совсем не привлекало, а когда после 3-го курса я во время практики попал на закрытый завод («почтовый ящик»), где изготовлялись радиодетали, и мы должны были возиться с грязными и пыльными порошками, ничего положительного не дававшими моему уму и сердцу, я окончательно отрекся от этой специальности. Но почти бесплатная крыша общежития, стипендия, продуктовые карточки (ведь до конца 1947 г. страна жила еще на нормированных продуктах) еще долго держали меня в ЛИАПе. Я ухарски и рискованно перестал заниматься, сдавал зачеты и экзамены «на арапа», принципиально не готовясь, а выезжая на элементарных довоенных знаниях в области химии и радио и на подсказках товарищей.

Удалось такими способами сдать зимнюю сессию на 4-м курсе, и получилось почти все на весенней, но я безнадежно провалился на первом же сложном и совершенно незнакомом мне предмете — «Радиопередатчики», на передаче снова провалился и потому перешел на 5-й курс с нехорошим хвостом и с лишением стипендии. Осенью же мои переживания и колеблющиеся расчеты (оставаться или уходить) были неожиданно прерваны директором института (помню его партийно-чиновничью физиономию и литературную фамилию — Катаев), исключившим меня за неуспеваемость. Реально-то не за это — с одним хвостом не исключали, — а за шум, который я поднял в институтском масштабе по поводу постоянных оскорблений студентов и вообще хамского поведения одной противной вахтерши, оказавшейся чьей-то родственницей.

Таким образом директор Катаев обрубил мои колебания... Исключение не стало для меня катастрофой, месяца через два я сам бы подал заявление об уходе, чтобы не доводить дело до преддипломной практики и тем более — до будущего обязательного распределения на работу. Еще один важный выигрыш моего увольнения: я избежал присвоения офицерского звания по окончании института, а на госэкзамене по военной кафедре в конце 4-го курса я получил тройку, за что на том этапе присваивали не офицера, а сержанта. Так я и проходил сержантом запаса всю призывную жизнь (кажется, до 55 лет?), в то время как мои сокурсники-офицеры несколько раз отправлялись на обременительные многонедельные сборы.

А с филологическим образованием у меня обстояло все очень хорошо. Переезжая осенью 1945 г. из Ташкента в Ленинград, я перевелся из САГУ, где у меня было сдано несколько экзаменов за 1-й курс, на заочное отделение филологического факультета ЛГУ. Положение заочника освобождало от обязательного посещения лекций и от обязательных экзаменационных сессий. Я готовился самостоятельно, договаривался с преподавателем, где и когда могу сдать экзамен или зачет, — приходил и сдавал. В среднем на предмет у меня уходило около двух недель (дольше пришлось заниматься языками, латинским и польским; непрерывно также читал художественные произведения). За учебный год я сдавал свыше 20 экзаменов и зачетов. Таким образом, начиная с новогодних дней 1946 года и до конца 1947-го, т.е. за два года, я сдал весь комплект зачетов и экзаменов по программе филологического факультета и смог с января 1948 года перейти к дипломной работе, получив на полгода стипендию и место в аспирантском общежитии ЛГУ на 7-й линии Васильевского острова.

Моим руководителем спецкурсов и спецсеминаров с курсовыми работами, начиная с 3-го курса, стал выбранный мною известный специалист по концу XIX века профессор Григорий Абрамович Бялый. Последняя курсовая работа у меня была монография о чеховских «Трех сестрах», а дипломная работа — «Чехов и Тургенев». Писал я ее с великой страстью, но наивная она была необычайно, как я потом увидел, прочитав ее через несколько лет. Ведь у меня совсем не было методологической школы. Не знаю, как Григорий Абрамович обучал своих подопечных на стационаре, а меня он совсем не

учил, ограничиваясь мелкими замечаниями, например, подчеркнув мой эпитет к почтенному М.Лемке — «некий» (я впервые столкнулся с его статьей и решил, что это какой-то безвестный критик) и приписав: «какой же он некий?!».

Приходилось самому вырабатывать свой метод: интуицией, подражаниями, сравнениями. Слушая вместе с бяловским спецкурсом «Тургенев» еще и спецкурс Н.И. Мордовченко «Белинский», штудирюя труды ведущих сотрудников кафедры русской литературы: П.Н.Беркова, Г.А.Гуковского, Б.В.Томашевского, Б.М.Эйхенбаума, В.Е.Евгеньева-Максимова, А.С.Долинина, И.Г.Ямпольского, я заимствовал у них пафос честности и объективности, стремление «пропахать» как можно больше материала вокруг избранной темы, интерес к архивным разысканиям.

На госэкзамене я, отвечая на первый вопрос — «История изданий и изучения "Слова о полку Игореве"» — не знакомому мне тогда М.О.Скрипилю, почему-то очень понравился ему (я смог, помимо прочего, привести взятые из шпаргалки обильные имена и даты — увы, со школьных лет я страдал отвратительной памятью, для меня мучением было выучить наизусть стихотворение, поэтому шпаргалки часто меня выручали). Михаил Осипович расспросил меня о студенческой биографии, о занятиях у Г.А.Бялого и сказал, что он настойт на особой отметке моего «выдающегося» ответа, и в самом деле при перечислении оценок сдававших госэкзамен мой ответ был выделен в числе нескольких самых хороших. Кроме того, М.О.Скрипиль, как мне сказал мой руководитель, специально беседовал с Г.А.Бялым относительно приглашения меня в аспирантуру кафедры. Не знаю, состоялось ли бы такое приглашение без той беседы. Но дипломную работу я защитил на «отлично», мой оппонент-рецензент Г.П. Бердников, партийный вождь факультета, так что его голос был решающим при подборе кадров, официально пригласил меня сдавать осенью вступительные аспирантские экзамены.

И тут я сдрейфил. Зная, как мало я знаю, пройдя весь курс филологического факультета фактически за два года и почти не имея детской, школьной гуманитарной подготовки, я решил посвятить следующий год серьезному дополнительному изучению всего курса русской литературы, поэтому не подал заявление в аспирантуру, а устро-

ился преподавателем литературы и русского языка в средней школе с минимальным количеством часов, 10—12 часов в неделю (долго мне снилась потом эта 337-я школа, я оказался неважным школьным учителем!), чтобы усердно готовиться к следующему 1949 году. Но оказалось, что на меня уже было уготовано место на кафедре русской литературы — и оно пропало, Бердников метал по моему адресу громы и молнии, и я в следующем году не решился подавать документы. Г.А.Бялый, переживший жуткую весну «космополитических» погромов и чудом удержавшийся в университете, все же не был равнодушен к моей судьбе, понял мое решение не приходить на кафедру после обиды партийного босса и посоветовал поступать в аспирантуру Пушкинского Дома.

А в Пушкинском Доме оказался хороший советчик — в будущем знаменитый создатель Дрeвлехранилища В.И. Малышев. Я имел счастье (?) летом 1949 г. жениться (прожили мы с Софьей Александровной мятежно, но твердо 52 года, забыв отметить свою золотую свадьбу!), дядюшка жены А.А.Васильев был умный и диничный специалист по «научному коммунизму», а во время блокады он служил вместе с В.И.Малышевым в армии. Он познакомил меня с Владимиром Ивановичем, тогда состоявшим членом парткома Пушкинского Дома и бывшим в курсе всех кадровых дел. Разведав ситуацию, он сказал, что у меня есть все шансы пройти конкуре, но я должен молчать об имени моего научного руководителя в университете. Это мне крайне не понравилось, я честно сказал о том В.И.Малышеву (а он: «С волками жить — по-волчьи выть; такая у нас обстановка»). Про себя я твердо решил: умру, но не солгу.

Первый вступительный экзамен — по специальности. Экзаменуют Н.К.Пиксанов, В.А.Десницкий и приставленный к старикам парторг, молодой спец по Фадееву В.А.Ковалев. В основном спрашивал Пиксанов. Естественно, в качестве реферата я положил свое дипломное сочинение «Тургенев и Чехов». Пиксанов перелистывает рукопись: «Вот вы пишете о крестьянских образах у Тургенева и Чехова. А изучали ли вы историческую литературу о положении крестьян в России во второй половине XIX века?» — «Нет, я не изучал такую литературу». — «А кто был ваш научный руководитель?» — «Григорий Абрамович Бялый», — с гордым вызовом произношу я. «Тогда понятно», — разочарованно тянет Пик-

санов. Еще каких-то несколько вопросов в том же «историческом» духе, потом два-три вопроса Ковалева по «Разгрому» Фадеева (чувствую кожей, что мои ответы о героине Левинсоне Ковалеву не нравятся; да я еще и начал отрезать, сжиматься, не развертывая ответов; уж такая у меня натура: если вижу недоброжелательное к себе отношение, то не делаю никаких попыток изменить его, а враждебно замыкаюсь в себе). Я получил в результате великолепную двойку.

Было радостно, что не утаил и не солгал, но душа сжималась от позора и безнадежности. Что делать? А потом — сильное ворчание Малышева, который за меня, оказывается, хлопотал, безуспешные попытки устроиться на работу: в школу не хотелось, а в издательствах и на радио были вакантные места редакторов, но нужен партийный билет... Г.А.Бялый хлопотал в университете, брезжило место секретаря В.Е.Евгеньева-Максимова, кажется, личного, а не государственного.

Но тут возник новый шанс (как много в нашей жизни случайного!). Был в Ленинграде помимо известного Герценовского еще один небольшой педагогический институт — имени М.Н.Покровского, подмоченного Сталиным в репутации главного историка-марксиста: вождь сбросил его с пьедестала в болото вульгарного материализма. Потом на моих глазах имя Покровского убрали, стал просто пединститут, а затем его вообще ликвидировали, слили с Герценовским. А в то мое трудное время он еще существовал, директором был замечательный администратор и замечательный человек мой фамильный тезка А.Г.Егоров (будучи полковником, он брал в Сталинграде в 1943 году в плен фельдмаршала Паулюса). На факультете русского языка и литературы были хорошие специалисты, кафедру русской литературы возглавляла Л.И.Кулакова, на кафедре работали видные университетские профессора А.С.Долинин и Д.Е.Максимов (впрочем, он тогда еще не защитил докторскую диссертацию), пушкинодомская фольклористка А.М.Астахова. Хорошие специалисты, хорошие люди. Был ежегодный прием в аспирантуру.

В 1949 г. из сдавших на «отлично» все вступительные экзамены выделялся выпускник университета П.С.Рейфман. Он прошел солдатом Отечественную войну, на пятерки учился в университете, документы были безукоризненны, но год был антисемитский, и в министерстве

Рейфман не был утвержден: дескать, нет официальной рекомендации в аспирантуру из университета и нет педагогического стажа. Место стало вакантным, оно вернулось в институт, и в ноябре был объявлен дополнительный конкурс. Об этом я узнал от Г.А.Бялого, подал документы; мой реферат (дипломная работа), в отличие от Пиксанова, очень понравился рецензенту А.С.Долинину. Вместе со мной успешно сдали экзамены еще три девушки, в будущем известные литераторы и театроведы: Г.Белая (не путать с московской однофамилицей), Л.Хихадзе, Л.Земская. Оказалось, что в Министерстве просвещения где-то еще нашлись вакантные места, и на «костях» П.С.Рейфмана мы все четверо были приняты в аспирантуру. Я был отдан под начало А.М.Астаховой (другие руководители уже были перегружены аспирантами), и мы компромиссно, с учетом моей тяги к XIX веку и к архивам, договорились о теме диссертации: «Н.А.Добролюбов и фольклор». В рукописном отделе Публичной библиотеки (частично и в Пушкинском Доме) хранились почти никем не тронутые добротные фольклорные материалы юноши Добролюбова. Хотя по теме диссертации уже были опубликованы ценные статьи А.П.Скафтымова и М.К.Азадовского, а уже в мое время темой заинтересовался В.Я.Пропп, но маститые ученые не добрались до архивных залежей, поэтому я открыл в этой области кое-что новое. Диссертацию я успешно защитил в срок, в декабре 1952 г., оппонентами выступили В.Я.Пропп и тогда еще относительно молодой добролюбововед С.А.Рейсер.

А с декабря 1951 г. я юридически числился аспирантом Тартуского университета, хотя фактически я, конечно, оставался при кафедре института Покровского. Экзотическим аспирантом я стал из-за жены: она закончила аспирантуру ЛГУ на год раньше меня, именно в 1951 году (по тогдашним правилам при двух супругах-аспирантах распределению подлежал ранее окончивший, второй должен был потом следовать за ним), по кафедре неорганической химии у проф. Я.В.Дурдина, который очень хотел ее оставить у себя, но партком потребовал вступления в партию большевиков: среди химиков была слишком жалкой партийная прослойка; жена отказалась такой ценой получать место в университете — и тогда ей пришлось идти на комиссию по распределению, где ей предложили три университета: в Кишиневе, Вильнюсе и Тарту. Мы, семейно посоветовавшись, предпочли Тарту, известный

культурными традициями и близкий к Питеру город. Переехали, и мне пришлось на последний год стать аспирантом Тартуского университета. Потом без проблем я был зачислен здесь в штат. На почасовых основаниях я преподавал на заочных отделениях вузов с лета 1948 года, а штатным университетским работником стал в Тарту с декабря 1952 г.

Так, в цепи случайностей, начиналась моя преподавательская и научно-литературоведческая жизнь, которая — даже не верится — продолжается более полувека...

В ЛЕНИНГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 1960-х ГОДОВ

В 1962 году я был доцентом Тартуского университета и мне светила приятная перспектива: на ректорском уровне (а ректор у нас был замечательный, я уже писал о нем, — Ф. Д. Клемент) был решен вопрос о моей двухлетней докторантуре и об издании монографии об Аполлоне Григорьеве. Но я, будучи откормленным волком, все-таки смотрел в лес: тянуло в Питер, в Россию. К тому же семья несколько лет назад переехала в Ленинград, и я оставался в Тарту на положении холостяка или бобыля, чувствовал себя неуютно (благодаря жене Софии Александровне Николаевой семья прибыла в Эстонию в 1951 году и благодаря ей же вернулась в 1958 году в Ленинград; жена на год раньше меня кончала аспирантуру химфака ЛГУ и потому подлежала распределению; руководство кафедры очень хотело оставить ее у себя, но партком из-за слабой партийной прослойки на кафедре поставил условие — вступить в ряды большевиков-коммунистов, жена наотрез отказалась, и тогда Питер плакал, дали на выбор три университета: в Тарту, Вильнюсе, Кишиневе; мы предпочли Тарту; жена быстро выучила эстонский язык, читала курсовые и дипломные работы, принимала экзамены на эстонском, хорошо ладила с коллегами, но оказалось два больших минуса: чрезвычайно трудно было заниматься научной работой электрохимику, привыкшему к сложным приборам ценой во многие тысячи рублей, а в Тарту ничего подобного не предвиделось, а во-вторых, очень мешала дикая ревность-зависть зав. кафедрой Наталии Ряго, ничего не делавшей в научном плане; поэтому как только С. А. пригласили в один ленинградский научно-исследовательский институт, она сразу же согласилась).

Естественно, мне тоже хотелось в Питер, поэтому когда забрезжила возможность перейти на работу в Ленинградский университет, я без колебаний решил, горя, конечно, о потерянных докторантуре и монографии, не говоря уже о прекрасной кафедре, состав которой был сколочен собственными руками. Но меня пригласили в альма матер, на уникальную кафедру русской литературы! Да и вообще пригласили первый раз в жизни. До этого

мне приходилось самому проситься, почти всегда униженно и безнадежно. Никогда не забуду 1948 год, год окончания ЛГУ. Так как я учился на заочном отделении, то не подлежал распределению и должен был сам искать работу. Сразу же был потрясен анкетными императивами: в издательствах, на радио и телевидении существовали вакансии, но требовались только члены партии, а я и комсомольцем-то никогда не был, не нравилась мне эта организация (из-за этого потом возникли большие трудности при поступлении в аспирантуру: как это не комсомолец?!). А в партию я вступил в 1957 году, в хрущевскую оттепель, наивно полагая, что такие, как я, смогут переломить сталинский дух и сделать партию и страну «с человеческим лицом»; потом 33 года мучился из-за своей наивности, вышел в 1990 году, как только чуть-чуть повеяло свободой и миновала опасность, что тебя за выход немедленно и с работы выгонят.

Пришлось мне год до аспирантуры учительствовать в средней школе; учителя тогда почему-то были очень нужны, но я люто, с детства, ненавидел школьную атмосферу. Сразу же я не решился поступать в аспирантуру, хотя и звали: заочный этап вуза я промахал за два с половиной года, была уйма лакун в знаниях. И вот — первое приглашение на родную кафедру! Цвет отечественной науки и педагогики! Хотя он и поблек после космополитического разгрома весной 1949 года, но все же удержался на уровне первоклассного. Костяк кафедры тогда, в 1962 году, составляли шесть профессоров, каждый из которых мог бы организовать свою собственную кафедру: В.Я.Пропп, П.Н.Берков, И.П.Еремин, Г.А.Бялый, Г.П.Макогоненко, Б.И.Бурсов. А доцентское ядро: В.А.Мануйлов, Д.Е.Максимов, И.Г.Ямпольский, В.Е.Холшевников, И.М.Колесницкая, С.С.Деркач, а молодые преподаватели: А.Б.Муратов, Г.В.Иванов, Н.С.Демкова! Первые три доцента вскоре тоже станут профессорами. Д.Е.Максимов был как бы моим крестным отцом, именно он, зная меня с конца сороковых годов, с аспирантуры Пединститута им. М. Н. Покровского, заговорил на кафедре о моем приглашении.

Сотрудники кафедры, начиная с заведующего И.П.Еремина, замечательного ученого и человека, и кончая рядовыми членами, все были «за». Все, да не совсем. Внешне как будто бы на периферии кафедры существовали два доцента, два Николая Ивановича — Соколов и

Тотубалин, в просторечии «Николашки». Посредственные ученые и педагоги, они держались на плаву благодаря партийным билетам и лакейскому проведению в жизнь всех предначертаний партии и правительства периода заморозков после весенней хрущевской оттепели; они дружили со знаменитым начальником отдела кадров университета С. И. Катькало, дубовым партийцем и антисемитом. К пословице «Рыбак рыбака видит издалека» я тогда добавил продолжение: «...а рыбак нерыбака еще дальше».

Ох, как «Николашки» всполошились, проведав про разговоры о моем приглашении! Казалось бы, они понятия обо мне не имели, и тартуского структурализма, жупела для ортодоксов, тогда еще не было — а почему-то всполошились. Думаю, что их насторожила горячая рекомендация Д. Е. Максимова, тоже подозрительного для такой братии из-за своих символистских увлечений (ведь вскоре Максимову не разрешат делать докторскую диссертацию о Блоке, и он срочно сочинит о Лермонтове). А кроме того, полагаю, соответствующие органы университетов довольно тесно общались, а обо мне уже в Тарту шла недобрая слава как о не очень марксистском литературоведе (занимался сомнительными литературными критиками вроде Ап. Григорьева и В. Боткина), а главное как о пригревателе евреев (при моем негласном, а потом и реальном заведовании тартуской кафедрой русской литературы пришли супруги Лотманы, Я. С. Билинкис, И. С. Правдина, почасовиком работал П. С. Рейфман). Для Тарту антисемитизм не был характерен, но все-таки подобный «перебор» становился заметен. Мой приятель, который тогда еще ходил в почасовиках на кафедре философии и тоже пригреваемый у нас (читал филологам курс эстетики), будущий известный философ Леонид Наумович Столович однажды пришел ко мне взволнованный:

— Слушай, ты правда еврей?

— Конечно, а ты что — сомневался? — с ходу заулыбался я.

— Да нет, я серьезно. Только что Аристэ сказал мне: специально пошел в отдел кадров и посмотрел личный листок Егорова — еврей.

Так что и эстонцы заинтересовались моим юдофильством. Академик П. Аристэ, видный лингвист, был человеком драматической судьбы: познал советскую тюрьму, допросы и все прочее — может быть, там сломался и стал

оказывать некие услуги? Ведь каким нужно быть просоветским, пропартийным, чтобы таким способом интересоваться еврейским вопросом, да еще и открыто лгать?!

Во всяком случае, у «Николашек» какие-то сведения обо мне имелись, и Катькало организовал мощную оборону, держал ее намертво, полгода не давалась мне ставка, хотя и место было, и на факультетском уровне уже как будто бы все было решено. Тогда все шесть профессоров кафедры, оскорбленные тайными кознями (ведь открыто ничего не говорилось!), пошли к ректору А. Д. Александрову, человеку непростому, но все же старому русскому интеллигенту. Профессора все ему рассказали, а он, оказывается, уже был в курсе дела и кое-что выдал коллегам новое. «Николашки» с помощью Катькало удосужились, наверное, посмотреть мою анкету, по которой ни к чему нельзя было придаться: и русский я, и партийный с 1957 года, но нашли старый способ — обратиться к слухам-сплетням. Говорят, дескать, что у Егорова жена еврейка. А это для Катькало и его окружения почти то же, что и национальность самого претендента. Моя жена от прадедов имеет финскую кровь, но ни капли еврейской. Ее отец — Александр Исаакиевич Николаев, сын русского дворянина, хотя и с подозрительным для антисемитов отчеством. Однако откуда сведения о предках, о тесте, тогда с нами, с моей семьей не жившем? Предполагаю, что свои катькало были и в Тарту, и связи у них с другими городами были прочные. Когда появилась кандидатура Егорова, то соответствующие ленинградские деятели могли запросить Тарту, а оттуда в духе Аристотели ответили: сомнительный, отчество у тестя Исаакиевич.

Но все-таки поход шести профессоров к ректору сыграл свою роль. Сказалось еще знакомство некоторых членов кафедры (Г. П. Макогоненко, С. С. Деркач) с проректором по учебной работе Г. В. Ефимовым: он был партийный деятель, востоковед-китаист (кажется, посредственный), был вхож в разные высокие инстанции; он, конечно, не меньше ректора Александрова презирал таких, как Катькало, и, если не требовалось рисковать головой, готов был проявить либеральную широту. Александров и Ефимов оказались выше начальника отдела кадров и санкционировали мое поступление в университет. Началась история весной, а кончилась в октябре 1962 года.

Точнее, кончился первый этап, а потом история продолжалась. Поступив с такими сложностями, я должен

был, теоретически говоря, сидеть тихо и не высовываться, но натура тогда была не тихая, я часто лез на рожон. А тут еще подвернулось событие, в котором я нравственно не мог не принять участие и которое особенно весомо прибавило ко мне ненависти у определенных «недругов». Речь идет о защите докторской диссертации известного ученого и достойного человека Б. Я. Бухштаба («Русская поэзия 1840—1850-х годов»), проходившей на факультете в апреле 1963 года. Защита протекала трудно.

В Московском университете тогда гремел скандальной славой профессор В. А. Архипов. Если представить себе тип-характер пресловутого Жириновского в виде вульгарного социолога с легким антисемитским акцентом, то будет вылитый Архипов. С хорошо подвешенным языком, нахальный, грубо нападавший на противников, он бушевал на кафедре и на страницах журнальных критических статей. За ним еще тянулись хвосты разных сплетен о донжуанских подвигах и о диких предразводных ссорах с женой, которая в отместку за его поведение якобы отправила в мусоропровод какую-то многотомную докторскую диссертацию, присланную профессору на отзыв из ВАКа. Настоящие ученые иногда не выдерживали и иронично высмеивали изъяны примитивных схем вульгаризатора, но ему все это было, как слону дробинки. Однако, видимо, запоминал критику, в том числе и ядовитую фельетонную статью Б. Я. Бухштаба «Литературоведческая чудасия» («Литературная газета» от 9 декабря 1961 г.), где автор показал, помимо общей чепухи, конкретные ошибки москвича (речь шла о Некрасове). Поэтому, когда Бухштаб защищался на филфаке, то Архипов не поленился специально приехать в Питер, чтобы выступить с погромной речью. Смысл ее был такой: Бухштаб умеет скрупулезно копаться в мелочах и совершенно не способен на значительные обобщения, которые только и могут дать претенденту право на степень доктора филологических наук; если защищающий диссертацию и достоин докторской степени, то по каким-нибудь библиотечным, библиографическим наукам.

Я знал свое шаткое положение, знал, что будут метить, но не мог молчать, попросил слова. Зов совести оказался выше прагматических расчетов (увы, это часто меня подводило в житейском плане). Я не стал вдаваться в подробности, ограничившись, главным образом, обликом самого Архипова: прямо сказал, что дело не в научных

спорах, а в обиде на статью Бухштаба; вместо того, чтобы заниматься наукой, обиженный тратит немалые силы на грубую полемику, унижая себя, а не противника; иногда живой и остроумный, при полемических пассажах против настоящих ученых и объективной научной истины Архипов неожиданно становился банально скучным — так и сегодня. Кончил я оперными строками: «Не довольно ль вертеться-кружиться, не пора ли мужчиною стать?»

Ясно, человеческая часть битковой аудитории мне хлопала; запомнились сильные аплодисменты В. М. Жирмунского. Ну, а другая половина, естественно, копила желчь. Вел заседание председатель ученого совета, декан факультета профессор Б. Г. Рейзов. Серьезный ученый, он, увы, продал душу дьяволу, лакействовал перед партийными подонками, что давало ему возможность спокойно публиковать вполне приличные в научном отношении труды и незадолго до кончины заработать чин члена-корреспондента Академии наук СССР. Но, очевидно, совесть, когтистый зверь, берedit душу таких изменников интеллигентской чести: Рейзов к концу жизни сошел сума. Так вот, как председательствующий, он явно показывал, на чьей он стороне: дважды прерывал меня, ссылаясь на какие-то пункты защитного устава.

Любопытно, что Архипов растерялся, отвечая потом на мою критику; неожиданно вынул из кармана пиджака номер «Литературной газеты» со статьей Бухштаба и пробормотал, что, конечно, он помнит эту статью (как будто кто-то в этом сомневался!).

После меня вылез на кафедру весь красный, как рак, В. Г. Базанов. Он тоже начинал нормальным литературоведом, опирался на новые архивные материалы, а потом, как и Рейзов, продал совесть, получил чин членкора, стал директором Пушкинского Дома... Не знаю, подзаправились ли они с Архиповым еще до защиты (тот был его дружок), или он был такой краснеющий от волнения, но он тоже обошел стороной диссертацию: дескать, я не собирался выступать, но выступление тов. Егорова заставило меня выйти. И далее следовали упреки Егорову в грубом, неуважительном отношении к замечательному человеку и ученому Архипову...

(При этом В. Базанов был более сложной фигурой, чем многие пушкинодомцы или тот же Архипов: он ценил ученых старшего поколения, он мог бескорыстно помогать молодым; например, много сделал для успешной защиты

докторской диссертации М. В. Теплинского и ее последующего утверждения в ВАКе).

Защита длилась несколько часов, напряжение было велико, даже комические вкрапления не разряжали обстановку. Детски наивный старец М. С. Альтман думал своим остроумием утихомирить страсти, длинно распространялся о соответствии Бориса Яковлевича своей фамилии: ведь «бухштабе» по-немецки это «буква» и т.д., но усталая аудитория лишь рассердилась. Наконец, голосование — и Бухштаб незначительным большинством получил положительное решение (потом его еще долго мытарил ВАК).

Выступление на этой защите чуть не стоило мне университетского места. Видимо, страсти недругов еще более заклокотали: кого мы приняли на факультет?! И злые силы снова выступили единым фронтом к лету 1963 года, когда мне нужно было вослед бывшему приказу о зачислении проходить уже выборную стадию: голосоваться на административном факультетском совете по поводу штатного пребывания в следующем пятилетии. Н. И. Соколов, бывший членом партбюро факультета, распространил слух, что бюро приняло решение против Егорова, хотя на самом деле, как потом выяснилось, такого решения не было. Его агитация возымела действие, и если бы не изрядная доля порядочных людей в совете, не видать бы мне Ленинградского университета. За меня опять же активно выступили профессора кафедры, что и принесло минимальный перевес, всего в один голос (кажется, 16 — «за», 15 — «против»). Таким образом я получил зыбкую отсрочку: как будто бы мог пять лет работать.

Подковырки продолжались и далее, самая крупная история произошла весной 1964 года. На студенческой научной конференции, где я выступал по поводу какого-то доклада о советской поэзии, кто-то из студентов (до сих пор не знаю, из любопытства или по провокационному заданию) спросил меня: кого из поэтов XX века я считаю самым выдающимся? Я ответил, что для меня на самой вершине — четыре поэта: Блок, Маяковский, Цветаева, Пастернак (каюсь: тогда Ахматова, Мандельштам, Есенин в моей шкале ценностей стояли чуть ниже тех четырех). Ох, дорого мне стоили эти слова! Современному студенчеству не понять, какими жупелами для официальных литературоведов были имена Цветаевой и Пастернака! Тут же мой ответ стал известен в партбюро, начались

публичные охаивания моего идейного облика; особенно значительные — на общем партийном собрании университета. Вот строки из статьи Г. Алешина «В идейной убежденности — сила ученого» («Ленинградская правда» от 4 июня 1964 г.), публицистического отчета о том собрании: «Доцент Егоров на конференции <...> договорился до того, что в числе великих русских поэтов XX века наряду с Маяковским назвал и Цветаеву. Попытки идейно оправдать декадентские, формалистические тенденции...» и т.д. Почему-то о Пастернаке этот тип умолчал.

Смешной на фоне проработок эпизод. Вскоре защитил докторскую диссертацию Д. Е. Максимов, позвал близких людей отметить это замечательное событие. Здесь я имел честь быть представленным А. А. Ахматовой со следующей характеристикой житейски наивного Дмитрия Евгеньевича: «Это тот Б. Ф. Егоров, который публично назвал Цветаеву великим поэтом XX века»; Анна Андреевна важно и медленно кивнула, не промолвив ни слова...

Все уколы и подковырки, конечно, ранили и тревожили душу, но я старался стряхивать их, закрываться интенсивной научной работой и радостью общения со студентами. Из лекционных курсов я на разных отделениях факультета читал «Введение в литературоведение» и «Теорию литературы». Подробно говорил о тропах и стиховедческих аспектах, объясняя студентам обилие терминов, но не механически, а пытаюсь опираться на глобальные системы: главные тропы — метафора и метонимия; метафора создается по принципу сходства, метонимия — по принципу смежности, все остальные тропы подверстываются под эти два вида, и т.д. Необходимый в тогдашних теоретических курсах раздел «Партийность литературы» старался растворить в общей идеологической подкладке, имеющейся у каждого писателя, если он мыслящий человек, постоянно подчеркивать, как многие нынешние литераторы, вроде Вс. Кочетова и его соратников по журналу «Октябрь», вульгаризируют принцип партийности...

А самым моим любимым предметом был спецсеминар по истории русской поэзии XIX века. Он проходил живо и относительно свободно, ведь литература прошлого столетия — не советская, там меньше было сучков и задоринки. Студенты часто делали интересные доклады. Горжусь, что немало моих тогдашних студентов вошло в число настоящих, творческих литературоведов, критиков, писателей: Белла Улановская — известный не только у

нас, но и за рубежом прозаик, автор рассказов и очерков в самобытной манере; Виктор Кривулин — один из самых популярных современных поэтов; Елена Игнатова — тоже поэт, а недавно еще отличившаяся яркими историко-краеведческими очерками о родном Питере; Татьяна Франкфурт — видный школьный преподаватель; Маргарита Чернышева ныне сотрудник московского ИМЛИ, участница подготовки академического собрания сочинений А. Н. Толстого. Хорошие были студенты, самая светлая память о тех годах связана со спецсеминаром.

И опять зависть-ревность. Никогда не забуду одного психологически важного эпизода. На филфаке есть длинные ряды небольших аудиторий в полуподвале, общее их название — «школа». И вот однажды по звонку иду я в окружении своих семинаристов в какую-то дальнюю комнату, предназначенную нам для занятий; смеемся, оживленно что-то обсуждаем, а по дороге нам попадается стоящий в дверном проеме пустой аудитории профессор П. С. Выходцев, заведующий кафедрой советской литературы. Он один, ждет студентов, коих, возможно, и не будет ни одного. И в его глазах — нескрываемая сложная смесь тоски, отчаяния, позора, стыда, зависти, ненависти. Ох, никогда не забуду этих глаз, этого взгляда на нас, на меня. Выходцев — один из наглядных представителей официального, партийного литературоведения, конечно, не пользовавшийся авторитетом и вниманием у студентов; кто-то сочинил о нем хороший каламбур: «Известно, откуда он выходцев и куда входцев».

Сталин и его приспешники любили повторять главный принцип социализма, начинавшийся словами: «От каждого по способностям». Но в том-то и дело, что советский социализм все перепутывал и не давал раскрывать способности большинству творческих личностей, они по тем или иным причинам не получали полагающихся им мест. И, наоборот, эти места занимали люди, не умевшие или почти не умевшие проводить полагающуюся для этих мест работу. А если бы эти люди сами или с помощью соответствующих специалистов оказывались бы на должностях, где раскрывались бы их способности, — было бы полезно, практично, приятно и государству, и окружению, и самим личностям. Может быть, Выходцев в роли пекаря, слесаря, военного, агронома стал куда более умелым и творческим, но престижные желания и судьба завели его на место профессора филологии, да еще заведующего кафед-

рой — и это оказалось ему совершенно не по плечу и лишь развивало желчь и злобу.

Храню один интересный документ. Весной 1968 года я собирался к друзьям в Польшу (потом это оказались тревожные и бурные мартовские дни, самая кульминация студенческих волнений в Варшаве) и посоветовался с колоритным зам. декана (тоже можно было бы о нем очерк написать) Г. И. Софроновым: как бы это мне получить две недели отпуска, но за свой счет, а не включая в летние два месяца? Хитрый Герман Иванович тут же сообразил: ему предстояло в конце учебного года писать занудный отчет о работе факультета за минувший период — и вот, если я соглашусь сделать этот отчет, то он отпустит меня без всякой официальной регистрации отсутствия! Оба мы остались довольны этим вариантом, и я потом в июне сочинил объемистый отчет, получив в свои руки отчеты от всех кафедр.

Отчет П. С. Выходцева меня изумил. Он весь состоял из негативностей: плохи ведущие профессора Л. А. Плоткин и Е. И. Наумов, плохи все преподаватели, и даже лаборантка Ирина Васильева, казалось бы, вполне партийная и идейная, плохо исполняет свои обязанности. Получалось из отчета, что один заведующий хорош. Критика преподавателей была комплексной, но больше всего осуждалась идеологическая слабость. Любопытно, что в текст отчета Выходцев потом еще над строками сверху вписывал более отрицательные эпитеты... После такого отчета хотелось спросить автора: как же вы в течение года, даже нескольких лет руководили такой плохой кафедрой? не стоило ли вам уйти, чтобы не позорить свое имя? Но Выходцев подспудно-то хотел совсем другого: разогнать бы такую кафедру и набрать «своих». Но руки все же были коротки. Когда-нибудь опубликую этот отчет со всеми вставками-поправками: замечательный документ и эпохи, и личности автора.

Ни в какую докторантуру меня факультетские инстанции не отпустили (это тебе не Тартуский университет!), но я и сам bravо работал над докторской диссертацией «Русская литературная критика 1848-1861 гг.» и в общем довольно успешно ее защитил в декабре 1967 года. То ли подцепить меня было трудно (и текст был не очень-то опасно злободневным, и из трех оппонентов — У. Р. Фохт, С. И. Машинский, Л. А. Плоткин — два последних были не только литературоведами, но и весьма заметными

партийными идеологами), то ли недруги устали, однако на защите и после нее не было ни выступлений, ни доносов. Вообще в те годы и месяцы от меня как-то поотстали.

Душевные раны стали затягиваться, но ненадолго. Очевидно, под внешним пеплом огонь не потухал. Летом 1968 года дочь Татьяна кончила среднюю школу и пожелала поступать на английское отделение филфака. Я знал, что это отделение престижное и номенклатурное, что чуть ли не за полгода до вступительных экзаменов уже составлены списки поступающих... Отговаривал, но дочь была непреклонна. Вот тут-то и отомстила мне факультетская шушера. Таня благополучно, на пятерки, сдала английский язык и историю, но получила по четверке на русском языке, устном и письменном. Руководитель приемной комиссии, партийный деятель В. С. Маслов специально взял сочинение Тани по литературе, как сказала одна знакомая, находившаяся тогда в преподавательской комнате, где проверялись работы абитуриентов, и что-то там писал на полях — возможно, умножал стилистические ошибки. А 18 баллов была совершенно непроходная сумма...

Слава Богу, ректор Тартуского университета Ф. Д. Клемент безоговорочно разрешил Тане поступить на заочное отделение, год у нее не пропал. А история эта была последней каплей. Я, уже ранее получивший предложение ректора Герценовского пединститута А. Д. Боборыкина, дал согласие возглавить кафедру русской литературы в этом вузе. Расставание в ЛГУ было тяжелым. Своя, в общем, кафедра, защищавшая меня во все трудные годы, свои коллеги (укорявшие меня за уход), студенты... Больше всего меня уговаривал замечательный человек, заведующий кафедрой Г. П. Макогоненко. Но я был непреклонен, надо было сбросить с души коросту болей и обид. Ушел, тоскуя и проклиная наш режим. С октября 1968 года я уже работал в Герценовском пединституте.